

БИБЛИОТЕКА МОЛОДОГО РАБОЧЕГО

В. ВОЛЬНОВ

Жизнь
детей
ВНИИД

ДЕТСТВО ВАНЮШИ



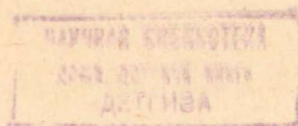
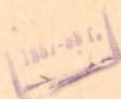
13-69

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОЛЕТАРИЙ»

21/1/88

(1)

23328



д.ч. 2665

БИБЛИОТЕКА МОЛОДОГО РАБОЧЕГО

В714чВ

Ив. ВОЛЬНОВ

В-714

ДЕТСТВО ВАНЮШИ

ЮНОШЕСКИЙ СЕКТОР
ИЗДАТЕЛЬСТВА „ПРОЛЕТАРИЙ“

1 9 2 5

Б.

(В.63)

ЮН. СЕКТОР

23328

1857-58 г.

ср и ст

Напечатано в первой типографии
Издательства „Пролетарий“,
Пушкинская ул., дом № 40,
в колич. 10.000 экзempl.
Укрглавлит № 16000.
Заказ № 1000.

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

ДОМ ДОКТОРА ИВАНОВА

ДСТ. ИВАНОВА



1. Чтобы ему так не делать! *)

Про род наш говорили так:

Лет сотню назад пришла в помещичью усадьбу князей Осташковых-Крытовых неизвестного звания дебелая старуха с молодым сыном Матвеем и записалась к барину в крепость.

— Ты, красавица, не беглая? — спросил ее бургомистр.

— Как зовут?

— Пиши; Анна, дочь Володимерова, вольная крестьянка... Никуда, ни от кого не бегала.

Это — все, что можно было узнать от нее, потому что на другие вопросы прабабушка отвечала уклончиво, ссылаясь на старые годы и плохую память.

Поселившись на вырезанном участке земли, старуха в скорости женила сына, а через год отдала богу душу, объевшись соленой рыбой.

От Матвея пошел наш род Володимеровых.

После войны дали — „волю“, — отняв землю, политую кровью отцов. Застонали землеробы, получив взамен ее буераки, пески и болота, где

*) Орывки из повести „Крестьянская Хроника“. Ч. 1-я „Детство“.

можно стоять, сидеть и посвистывать, а работать — нельзя. С тех пор постепенно стало вывертываться наше хозяйство. Недостаток земли и неурожай сожрали скот и припасенные про черный случай деньги, обременительные налоги.

При покойном дедушке, Лаврентии Ивановиче, земли было еще четыре надела и кое-какой скот, но с его смертью петля затянулась еще туже, отец начал пить, а, напиваясь, буянить, выгоняя нас всех из избы; иногда бил посуду и мать.

Еще в начале жизни, я помню случаи, когда позднью осенью ночевали на улице. Падает, бывало, маленькими пушинками снег, ветер свистит и рвет солому с крыш, из избы несется брань и пьяная песня, кругом — жуткая муть, а мы вчетвером спим у дверей, положив голову на порог: мать, Мотя, я и Муха. Мать закутывала меня вместе с собакою в полушубок, кладя на самое удобное место, по одну сторону ложилась сама, а по другую — Мотя. К первым петухам отец засыпал, и тогда мы, затаив дыхание, пробирались в избу.

Никогда за всю мою жизнь не назвал меня отец в трезвом виде ласковым именем, не погладил по голове, не обнял, как другие отцы, и когда я, бывало, видел, как мои товарищи целуют своих отцов, а те с ними играют, мне становилось обидно, больно, потому что я боялся отца, его вечной угрюмости, матерной брани и звериного взгляда из-под густых полуседых бровей.

Раз он послал меня за лошадью, которая паслась сзади сарая.

— На, вот, оброть, — сказал он, — приведи, ступай мерина... Гляди — к чужим не подходи: убьют.

— Еще там что! — воскликнул я. Чего они будут убивать — я стороной!

Поручением я гордился: шутка ли — отец за лошадью послал!.. Доверяет!.. Лошадь наша, Буланый — старая, со сбитыми плечами и вытертой холкой, с отвислой нижней губой, бельмом на правом глазу, желтыми зубами, смиренная.

Накинув ей на голову оброть, я подумал:

— Если я большой, могу и верхом забраться, — и вцепился в гриву.

При помощи ног и зубов кое-как вскарабкался. Сижую сияющий и думаю.

— То-то отец удивится!... Сам, спросит, сел?

— Конечно, скажу, — сам, — кобель, что ли, подсадит?

— Молодчина, — похвалит он: — в ночное скоро будешь ездить.

А это — моя заветная мечта.

— Но-о, милак, шевелися, — дернул я за повод.

Лошадь стояла, покрутила головой и фыркнула. Я ее подхлестнул. Лошадь нагнулась, сорвала головку колючки и почесала о колени губы.

— Ты почему меня не слушаешься? — рассердился я и подхлестнул ее сильнее.

Лошадь затрусил.

— Ты, что там, подлюга, копался?—неласково спросил отец:—не мог поскорее?

— Я, тять, сам сел верхом! — закричал я: — не веришь? И я мигом сполз на землю, чтобы снова забраться на Буланого.

Отец пошел в амбар.

— А ты подожди,—попросил я:—посмотрел бы, как я влезу, я ведь не обманываю.

Он остановился.

— Не подходи близко к мерину, а то еще убьет. Стань в сторонку.

— Ну-ну! Он скорее тебе отдавит ногу,—проворчал отец.

На мое горе — я начал волноваться, оттого — слабеть. Несколько раз я вцеплялся за шею, но руки не поднимались, и я падал.

Отчаяние прокрадывалось в душу.

— Не поверит... Скажет: зря хвалюсь.

И я еще с большим старанием пыхтел около Буланого.

— Я сейчас... сейчас... — бормотал я, готовый разрыдаться. — Обожди немного, я сейчас... Мне вот штаны сильно мешают: я поправлю и вскочу...

Буланому, должно быть, надоело ждать: он обернул голову, пожевал губами: тоже, дескать, строит мужика из себя, чертенок. — Потом переступил с ноги на ногу и сделал шаг к сараю.

— Хоть бы ты стоял, не шевелился! — закричал я: — и трудно потерпеть, домовой? — чуть не выругался матерно.

— Вот и не выходит дело, — подошел отец: — держись, я подсажу.

— Нет, не надо, не надо! — торопливо сказал я и, собрав последок сил, метнулся на шею Буланого. Перебрасывая ногу, я пяткою ударил отца под бодбородок.

— Э, сволочь, — воскликнул он, рванув меня за рубашку и сбрасывая на землю. — Пошел к чертовой матери, наездник! — и начал потирать ладонью подбородок.

Я съежился и задрожал, как облитый холодной водою, смотря на отца глазами, полными слез. А он, надевая хомут на Буланого, опять закричал:

— Не тебе я сказал? Уходи, покуда морду не побил...

Чтобы ему так не делать!

2. В голодный год.

Год был голодный, хорошей муки нигде нельзя было достать, но такой, кажется, и не видали.

Купленная мука оказалась гнилой, с песком. Хлеб совершенно не выходил: на лопате он был еще ничего, но стоило посадить в печку, и он расплывался безобразным блином.

Когда ковригу вытаскивали из печки, верхняя корка вздувалась, под нею образовывалась измочь, и мякиш превращался в тяжелую, вязкую глину. В другое время такой хлеб собакам стыдно было бросить, а тогда ели, радовались и хвалили.

Потом опять доели все. Последние 10 фунтов муки мать смешала с двойным количеством лебеды, и нам хватило хлеба суток на троє. За день же до Петровского разговенья, вечером мы получили по последнему куску.

— Ну, детки, нынче ешьте, а завтра — зубы на полку — хлебушка больше нет, — сказала мать.

Мотя в это время ходила на поденную к помещику.

Мне дали два ломтя, а отец, мать и сестра получили по одному.

Ложась спать, я один съел, а другой спрятал себе под подушку — на завтра.

— Скоро у нас опять будет драка, — думал я: — отец станет хлеба добывать.

Зарывшись головою в дерюгу, я прикидывал на разные манеры, как бы помочь: попросить бы что ли у кого или украсть, а то еще что-нибудь сделать, чтобы отец с матерью завтра обедали, а драться обождали.

Незаметно мысль перешпа на сегодняшнее.

— Жалеют меня: два ломтя дали... а сами по одному...

Засунув руку под под подушку, я нащупал ломать хлеба.

— Как только встану, умоюсь, сейчас же и съем.

Вдруг пришло в голову:

— А ну-ка, кто-нибудь вытащит ночью — Мотя или мыши?

Вскочив с постели, я подошел к матери, собиравшейся лечь спать.

— Мама, дай мне, пожалуйста, замок с ключом.

— На что тебе, детка?

— Нужно, дай.

— Сейчас поищу.

Покопавшись в углу, мать принесла замок. Я побежал в сени к своему ящику, в котором у меня хранились бабки, осколки чайной посуды, самодельные игрушки, лоскутки цветной бумаги, примерил замок и, тихонько прокравшись к постели, взял оттуда хлеб, чтобы спрятать его.

— Глупенький, его же никто не возьмет, зачем ты затворяешь?

Склонившись надо мною, стояла мать, смотря мне в лицо, и тихо плакала.

В душу прокрался мучительный стыд, но я сделал попытку оправдаться.

— Я боюсь, кабы его ночью кошка не съела,— сказал я, но вспомнив, что кошку еще перед осенью убил, стал путаться.

— Чужая прибежит и слопает, когда я сплю,— неуверенно, чуть не с мольбою, говорил я.

Мать, должно быть, поняла меня.

— Затвори, затвори,— сказала она:— так надежнее.

— На другой день, когда я проснулся, все уже были на работе и возвратились поздним вечером, усталые, голодные.

Мать я увидел далеко за деревней и побежал к ней навстречу. Засмеялся сначала с радости — скучно целый день одному! — а потом прижался к ее платью и горько заплакал.

— Ты что, миленький, о чем? — спросила она. — Тебя кто-нибудь побил?

— Да, меня ребяташки обижают — не принимают играть.

— За что же они, голубчик? Ну, погоди: я им уже накладу, озорникам... Не плачь, на вот гостинчика, бабушка Полевая прислала.

Развернув тряпицу, мать подала мне кусочек запыленного хлеба.

— На, вот, — ешь.

С непередаваемым наслаждением съел я эту корочку, и на душе сразу повеселело.

Мотя пришла позднее, когда я лежал уже в постели. Она молча сняла зипун, разула лапти, выбила пыль из них и развесила онучи по веревке.

— Матреша, — не утерпел я: — мать мне гостинец принесла.

— Какой? — равнодушно спросила она.

— Ого! — Ты больно любопытна! А если не скажу?

— Не скажешь, — не надо.

На дворе стемнело. Лаяла где-то собака. Скрипели ворота. Прохор, сосед, кричал работнику, чтоб взял из сарая клещи. Под кроватью щелкала зубами Муха, выкусывая блох. Отец, шарпая

босыми ногами по полу, натыкался то на ведро, то на лохань.

— Ты нынче обедал? — спросила сестра, ложась.

— Нет, а ты?

— Я обедала.

— Счастливая какая, где?

— Мало ль где, — ответила она.

Пошарив рукой под изголовьем, Мотя проговорила, поднося что-то к моему лицу:

— Поешь-ка вот.

— Что это?

— А ты ешь, не расспрашивай, коли дают.

Она держала тот самый ломтик хлеба, что получила накануне. С одного уголка он был обломан.

— Это — твой вчерашний? Как же...

— Фи-и! — засмеялась сестра; — тот я еще утром съела...

— А этот?

— А этот мне девки дали... Целый ломтище... Ела-ела, некуда больше, я и принесла тебе.

— А не брешешь?

— Жри, сволочь, что пристал? — закричала со злобой сестра, тряся меня за локоть.

— Сама ты — сволочь, — сказал я и принялся за хлеб.

Мотя отвернулась, кутаясь в дерюгу, но через минуту, приподняв голову, спросила:

— Засох, небось?

— Хлеб-то ничего: есть можно.

Она ощупью собирала крошки и клала себе в рот.

— Тебе дать немного?— спросил я.

— Сам-то ешь, я, ведь, обедала.

— Чего там — на кусочек!— и я отломил ей чуть-чуть.

Мотя отнекивалась, потом взяла хлеб, отщипывая помаленьку, сося, как леденец, а я, дожевав остаток, уткнулся в подушку и захрапел.

3. На поле.

На Преображение Буланный наелся на гумне ржи из вороха, раздулся, как боченок, и стонал, лежа в углу, на соломе, а через сутки издох.

Мать вопила в голос, когда с него Перфишка сдирал кожу, а отец молчал, как истукан.

— Недогляд, это — дело неважное, — бормотал Перфишка, обчищая ноги. — Глядите-ка! — и воткнул большой ржавый нож в живот Буланому.

— Что ты, живодер, надругаешься! — сказала мать со слезами: — он кормил нас девять лет, а ты его ножом.

— Я пары выпускаю, — ответил мужиченко. — У него пары скопились ото ржи. В животе Буланого заурчало, и со свистом и шипением начали выходить пары.

— Ишь, как валит! — восхищенно говорил Перфишка, обминая драные бока: — как из трубы! Рожь у него теперь в кутью распарилась.

Облупивши мерина, кожу бросили в одну сторону, а дохлятину — в другую. Я поглядел на желтые, оскаленные зубы Буланого, на его выпавшие глаза, отрезанные уши, распоротый живот и — заплакал.

— Теперь его куда-нибудь подальше от деревни, — сказал Перфишка, — чтобы не воняло.

Отец взял у соседа лошадь и, привязав Буланого веревкою за шею, стащил за огороды, в ров.

— Лежи тут, голубок, — сказал он, глядя на мерина. — Лежи... — Вздохнул, надвинул на глаза шапку, помялся и пошел домой. Обернувшись, спросил:

— А ты что же не идешь?

Хотел еще что-то сказать, но только покашлял, отвернувшись.

Я крикнул ему вслед:

— Я буду караулить, чтоб не слопали собаки!

И я сидел до самого обеда.

Пришел Тимошка поглядеть.

— Издох ваш мерин!

— Да, издох.

— Теперь вас будут звать безлошадниками, нищетой несчастной.

— И вы — нас не богаче, — сказал я.

— Богаче не богаче, а у нас все-таки матка с жеребенком.

— Может, бог даст, и у вас матка издохнет, тогда и вы будете нищетой.

— Чтоб у тебя язык отсох, у паскуды! — сказал Тимошка, сплевывая. — Чур нас! чур нас! чур нас!

— Чтоб у тебя отец издох за эти слова! — добавил он.

Я тоже сплюнул три раз и ответил:

— А у тебя мать.

За ужином отец сказал:

— Без лошади не жизнь, а дрянь одна, — и продал на утро теленка, корову и овец.

За эти деньги он купил в Устрялове Карюшку, низенькую, черную лошаденочку с тонкими ногами, тонкой шеей и белой звездочкой на лбу.

Перевозив с грехом пополам овсяные снопы, отец поехал сеять озимь и меня с собою взял.

— Картошки будешь печь мне, — говорил он.

Я в поле ехал первый раз и радости моей не было конца.

Мигом собравшись, я уселся в телегу, когда лошадь еще не запрягали. Вышедший отец засмеялся.

— Рановато, парень, сел, — сказал он: — семян надо прежде насыпать.

Положив мешок с рожью и укутав его ветретьем, сверху бросив соху с бороною, лукошко, хребтук, в задок — сено и хлеб, отец сказал:

— Теперь лезь.

— А Муху возьмем? — спросия я. — Ишь, как ластитя, непутная.

— Муха дома остается,— ответил отец.

В поле я собирал лошадиный навоз и пек в золе картошки, ездил верхом на водопой, приносил отцу уголек закурить, ловил кузнечиков и все время думал, что я теперь — не маленький.

Встречая у колодца товарищей, я снимал, как большие, картуз и здоровался.

— Бог помочь! Много еще пашни-то?

Мне серьезно отвечали:

— Много...

Или:

— Добьем на-днях: осминик навозной остался... Жарища-то!..

Не умываясь по утрам, я хотел быть похожим на отца: запыленным, с грязными руками и шеей. Бегаю по пашне, выбирал нарочно такое место, где бы в лапти мои набилось больше земли, и, переобуваясь вечером, говорил отцу, выколачивая пыль о колесо:

— Эко землищи-то набилось — чисто смерть!

Отец говорил:

— Червя нынче много в пашне, дождем не достает: плохой, знать, урожай будет на лето.

Я поддакивал:

— Да, это плохо, если червь... С восхода нынче засинелось было, да ветер, дьявол, разогнал.

— Не ругай так ветер — грех,— говорил отец.

Ложась спать, я широко зевал; по-отцовски чесал спину и бока, заглядывал в кормушку — есть ли корм и говорил:

— Не проспять бы завтра... Пашни — непочатый край...

И опять зевал, насильно раскрывая рот и кривя губы.

— О-охо-хо-хо!.. Спину что-то ломит — знать к дождю!

Отец разминал ногами землю у телеги, бросая свиту, а в голову — хомут или мешок и говорил:

— Ну, ложись, карапуз.

Трепля по волосам, смеялся:

— Вот и ты теперь мужик — на поле выехал.

Я ежился от удовольствия и отвечал:

— Не все же бегать за девченками, да пужать чужих кур — теперь я уж большой.

Отец смеялся пуще.

— Не совсем еще большой, который тебе год?

— Я, брат, не знаю — либо пятый, либо одиннадцатый.

— Мы сейчас сосчитаем, обожди, — говорил отец, — ты родился под Крещение... раз, два, три... Оксютка Митрохина умерла, тебе три было года — это я очень хорошо помню: мы тогда колодец новый рыли... Пять, шесть... Семь лет будет зимой, — ого! Женить тебя скоро, помощник!

— Немного рано: не пойдет никто.

— Мы подождем годок.

Отец вертел цыгарку и курил, а я, закрывшись полушубком, думал: какую девку взять замуж.

Тять, — говорил я, — а Чикилевы не дадут, знать, Стешку за меня, — а? Они, сволочи — богатые.

— Можно другую — отвечал отец, улыбаясь. — Любатову Маврушку хочешь? Девка пышная!

— Что ты выдумал? Ее уж сватают большие парни!..

— Ну, спи, — говорил отец, — а то умаялся я за день, надо отдохнуть.

Пашня наша подвигалась, но Карюшка с каждым днем худела. Бока ее осунулись, кожа присохла к ребрам, над глазами появились две большие ямы, а шея стала еще тоньше. Когда наступал обед и отец подводил лошадь к телеге, она, всунув голову в задок, где привязан был хребтук с овсом, жадно хватала зерно и, набрав полный рот, замирала. Раздувались красные ноздри, шея и ноги тряслись, на водопой шла, спотыкаясь.

— Что, Корюшка, замучилась? — спрашивал я, давая ей хлеба.

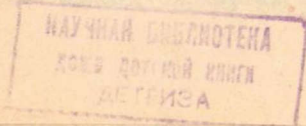
Лошадь наклоняла голову и терлась о мое лицо.

— Трудно тебе, девка, — говорил я, глядя ее гриву.

Она клала морду на плечо и шевелила мягкими губами.

— Трудно, трудно, — повторял я. — Хочешь огурцов?

Лошадь отказывалась, крутя головой и вздыхая. Подходит отец.



23328

1991

— Что, разговариваете? — спрашивал он и, трепля Карюшку по спине, говорил ей: — Дотяни как-нибудь до конца, а зимой отдохнешь, матушка... Постарайся!..

Дня через четыре мы переехали на прогон. Пашня там была труднее: стада овец и коров утрамбовали землю так, что соха еле брала. К позднему завтраку сломали сошник.

Пока приехали домой, да пока справляли новую соху, прошел день.

— Ну, как — не видел Полевую Бабушку? — спрашивала мать.

— Только мне и дела было, что на Бабушку смотреть, — ответил я, — я, чай, тож работал, слава богу.

— Ах, ты, мужик мой милый, — засмеялась она и дала мне вареное яичко. — На-ка, съешь.

Сидевшая на лавке Мотя дернула презрительно губою.

Потом я сел посередь избы разуваться так, чтобы видели все.

— Смотри-ка, мать, землищи-то сколько в лаптях, — говорил я, хмуря брови, — пыль эта совсем меня замучила!

Мать втихомолку смеялась, а сестра поддразнивала:

— Весь день под телегой пролежал поди, а тоже хвастается, овечий выродок!

Я ей ответил на это:

— Хорошо тебе, сидя на печке, болтать языком, а съездила бы раза три на водопой, да собирала бы котяшь, так узнала, как на пашню ездят, тумба!

И я победоносно взглянул на сестру, потом, усевшись в передний угол, стал крутить цыгарку из мха:

— Курить, — говорю, — что-то захотелось.

Мать мне на это ответила:

— Кабы я тебе, друг, губы не отбрила! Ишь выдумал чего!

— А как же ты отцу ничего не говоришь? — спросил я, отодвигаясь на всякий случай подальше: — Дрефишь, старая? Он бы тебе всыпал!

Мать не нашла, что сказать.

4. Барин гневается.

Утром следующего дня Мотя принесла нам в поле завтрак.

— Приказчик был с нарядом, — сказала она. — Беспременно, чтобы нынче выезжать, а то штраф большой.

Отец бросил ниву и поехал сеять барскую землю.

Зимой, в бескормицу, Осташков дал соломы мужикам, которая ему была не нужна, за тем, чтобы они обработали летом по две десятины земли на двор.

На нашу долю достался пай у оврага. Земля там — волнистая, крутая, заросшая пыреем и диким

клевером. К вечеру пошел небольшой дождь, разрыхлил почву. Отец радовался:

— Слава богу, как-нибудь осилим... Ишь, соха-то — как по маслу прет.

Пужинав, мы улеглись под телегой, стреножив лошадь на отаве. Ночью меня разбудил крик и матерная брань. Отбросив полушубок, я прислушался.

— Домой, что-ли приехал, с... с..., — кричал ему мужик. — Я тебе покажу, как баловаться!

Послышались удары кнута по спине и странный голос отца:

— Что же вы делаете, Гордей Кузьмич?.. Я на минутку!..

Отец будто лаял, когда говорил, или будто кто держал его за глотку.

Началась возня, удары участились и были глухими: словно выбивали пуховую подушку.

— За что-о вы, господи-и! — кричал отец. — Трава-то так же пропадает!

А чужой мужик, которого отец величал Гордеем Кузьмичем, сердито спрашивал:

— Где оброть? Давай сюда скорее!

— Где ж ее взять? Теперь темно, — отвечал отец.

— Неси, подлец, всю морду разобью! — орал Гордей Кузьмич, и снова по траве или спине хлопал кнут.

Отец подошел к задку телеги, пошарил там руками и нагнулся к хомуту. Рядом с ним стоял

высокий мужик с ружьем через плечо, держа в поводу оседланную лошадь. Лошадь била копытом землю и жевала удила, отчего они хрустели, а помещичий объездчик, обрусевший черкес, ругался матерно, сопел и чванился.

— На-те, — сказал отец, подавая обротъ.

Чужой мужик, Гордей Кузьмич, отъехал и вскоре с луга донеслось:

— Стой, дохлая стерва! Вся в хозяина — упрямая!

В воздухе свистнул арапник. Потом затопало четыре пары ног, зашумел лозняк на дне оврага и — затихло.

Я дрожал, притаившись.

Отец, подойдя к телеге, упал на землю около заднего колеса и, вцепившись в обод пальцами, стал трясти телегу, стучаясь головою о спицы. После — заплакал, как маленький:

— Батюшки мои! Родимые! Голубчики, милые!.. Ох! ох! ох!.. Смертушка приходит!.. И закатился, раскинув руки и уткнувшись лицом в сырую землю.

Утром, чуть свет, когда я спал еще, он побежал на барский двор выпрашивать загнанную с княжеской отавы лошадь. Возвратился через час, осунувшийся, серый, усталый. Молча сел на втулку колеса, схватился обеими руками за волосы и завопил:

— Где я возьмут решницу? За что-о? — и покрутил головою, не то икая, не то кашляя, не стараясь удержать рыдания. Под левым глазом у него синяк, на ухе — ссадина.

Перед завтраком пошел в имение и возвратился только вечером.

Я же, сидя в телеге, ждал его.

— А где же отец твой, эй ты! барин! — спрашивали проезжавшие мимо мужики.

— Я не знаю — отвечал я.

— Вот так штука! — хохотали они. — Его, видно, цыган ночью украл?

Когда выросла в четыре шага тень от сохи и перестали кусаться мухи, захотелось есть. Встав на телегу, я осмотрелся и закричал:

— Тятя а-а! Иди домой: е-е-есть хочу! — закричал я со слезами.

На пригорке в полуверсте, между купами деревьев, золотились на ярком солнце соломенные крыши служб, над ними — церковь с бледно-голубым, под цвет неба, куполом и рыжим восьми-конечным крестом; красные крыши молочни, кузницы и конского завода — словно яркие платки деревенских модниц, развешанные на кустах. Между серыми полосами теса белели каменные столбы — наугольники амбаров с хлебом и зерносушилки; дальше — пруд и около — высокий, старый лес, откуда выглядывал двухэтажный барский дом с десятком лучистых окон.

Вдали послышалась песня. Она становилась слышнее, и вскоре застучали колеса в лесу. Подъехавший с боронами молодой парень спросил меня:

— Чего ты плачешь, мальчуган?

— Есть хочу, — ответил я.

— Эх, ты, пахарь, — сказал он: — а где же отец?

— Пошел к барину за лошадью.

Он подошел к телеге, пошарил в веретье и сказал, доставая мешок:

— Вот он — хлеб, жуй. Вот огурцы соленые.

Солнце зашло, побагровело небо, земля и жнива посерели. Приплелся понурый отец.

— Ты ел? — спросил он.

— Ел.

Достав хлеб, отец отломил небольшую корочку, с неохотой пожевал ее, запивая теплым квасом, потом сказал:

— Пойдем домой.

— А лошадь как же? — спросил я.

Он промолчал.

Думая, что он не расслышал, я переспросил. Отец топнул ногой, закричал, замахал руками, матерно ругаясь, и схватил меня за шиворот.

— Какое тебе дело, — тряс он меня, как котенка. — Чтоб тебя чорт задавил!

Дышать было трудно; я крутил головой, упираясь руками отцу в живот и визжал.

Он толкнул меня в спину ладонью, я упал, заорав во всю глотку:

— Ой, спину повредил! Ой, что-то колет!..

— Перестань! — цыкнул отец.

Я вытер глаза и сказал:

— Теперь я больше не поеду с тобою на пашню, ты дерешься.

— Нужен ты, как пятая нога собаке! — проворчал отец.

— Вырасту большой, — отделиюсь от тебя.

— Замолчи!

— Что ли, я Карюшку-то увел? Ты бы этак по спине объездчика хватил...

Отец взялся за голову.

— Замолчи, Христа ради, сатана!.. Замолчи!..

Мать дома плакала, когда мы поздним вечером вернулись: она знала о несчастье.

На второй и третий день Гордей Кузьмич Карюшки не отдал. На четвертый мать побежала упрашивать его сиятельство, но около дома ее укусила легавая помещицыя собака, и мать воротилась в слезах. Пообедав, отец сам пошел — второй раз за этот день.

— Что хотите, то и делайте со мной, — сказал он в экономии. — У меня пропадает год. — И сел на землю у крыльца.

Осташков, князь, назвал его мерзавцев, хамом, свиньей.

— За такие вещи вас разбойников, в конюшне драть! — покраснел он и затопал ногами. — Что-о?

Отец молчал.

— Избаловались!.. Что-о?..

— Я ничего.

— Как ты смеешь разговаривать?..

— Пожалейте, бога ради.

Узнав, что отец пахал его землю, помещик смилостивился, распорядившись отдать лошадь без

денег, но с условием, чтобы он обработал полдесятины лишних. Отец поклонился ему в ноги и приехал домой веселый. Голодная лошадь набросилась во дворе на старую солому.

— Дай мне хлеба поскорее, я поеду допахивать, — сказал он матери. — И так почти неделя лопнула.

— Три рубля, говорит, а где я их возьму — давиться что-ли? — бормотал отец, завязывая у окна мешок. — Три рубля — шутка немалая! Ихний брат эти три рубля, может, в три дня заработает, а нам надо полмесяца, да и то — негде... — Три целковых, — хорош Лазарь?

Обернувшись ко мне, он спросил:

— Поедешь или нет?

— Поеду, — сказал я. — Я теперь на тебя не сержусь.

— Вот и молодчина, — засмеялся отец. — И я не сержусь на тебя.

— Я, тять, и делиться не буду: я только пострадать хотел... ей-богу! — тараторил я, отыскивая лапти.

5. Пошли учиться.

Осенью, перед Покровом, я сказал матери:

— Все ребята собираются в училище, надо и мне идти.

— Что же, ступай, — ответила она: — не мали ты?

Я ответил:

— Ничего, пойду: есть которые меньше меня.

— Вот тебя там вышколят, — постращала сестра. — Учитель-то, сказывают, сердитый: как чуть что — так розгами.

— А ты как же хочешь: на то и ученье! Читать, девка, штука не легкая.

В воскресенье, после обедни сходили на молебен, а утром, чуть свет, к нам прибежали: Мишка Немченюк, Тимоха Калеван и Мавруша Титова.

— Эй, барин Осташков, еще храпака воздаешь? — загалдели они. — Пора, вставай!

Ебята гладко причесаны, головы намазаны лампадным маслом, под шеей пестрые шарфы. Маврушка, в новом платке с красными горошинками, расстегай весь в кружевах, а из-под сибирки выглядывает желтый завес.

— Эге, вы все равно — к обедне обрядились! Ну-ка, мать, давай и мне вышитую рубаху! — закричал я. — А где же у вас сумки?

— Сумки пока в кармане; книжки дадут, тогда наденем.

Мать смеется:

— Ах, вы отрошники! Что вы побирушками обрядились?

— А как же? Чай, все ученики так ходят, — ответил Мишка, произнося с особым ударением слово ученики.

По пути забежали за Козленковым Захаркой, который учился третью зиму и сидел в „старших“.

— Ты, Захар, не давай нас в обиду, — упрашивали мы товарища.

— Ничего, не робейте: кто полезет, вот как кукурекну, только чекнет! — успокаивал он.

Мавра достала из кармана ватрушку с толченым конопляным семенем и, подавая Козленкову, сказала:

— Может, ты плохо, Захар, позавтракал, — сомни ее.

Захарка ответил, что позавтракал он хорошо, но ватрушку съест, чтоб зря не пропадала.

Школа, несмотря на ранний час была полна и гудела, как улей. Она помещалась в просторной избе, перегородженной на две половины: в одной сидели „старшие“ и „другозимцы“, а в передней — новички.

В 9 часов пришел учитель, в поддевке тонкого сукна и светлых калошах, высокий, тонкий, с реденькой, русой бородкой кустами и утиным носом.

— Гляди-ка, чисто барин, — шепнул мне Тимошка — Учитель-то!..

Он поздоровался и скомандовал: на молитву. Ребята повернулись лицом к иконе и запели на разные голоса. Учитель рассадил всех по местам, старшим выдал книги и приказал что-то писать, а сам подошел к нам.

— Что ребятишки, учиться пришли?

Мы молчали.

— Вы что же не отвечаете, не умеете говорить?

— Умеем, — выручила Марфушка.

— И то слава богу! Учиться, что ли?

— Да! Да! — запищали мы вперебой, как галчата.

Учитель улыбнулся.

— Садитесь пока здесь, — указал он на свободные места. — Я запишу вас.

Из дверей выглядывали знакомые лица товарищей, привыкших уже к школьной обстановке и державшихся свободно: они смеялись, подталкивая друг друга, ободрительно кивали головою: не робей, дескать, тут народ все свой!

— Как тебя звать? — обратился ко мне первому учитель.

— Ваньтя.

— Иван, — поправил он, записывая что-то на бумажку. — А фамилия?

— А фамилия.

Учитель поднял голову.

— Что ты сказал?

— А фамилия.

— Что „а фамилия“?

— Я не знаю.

Учитель потер переносицу, покопал спичкой в ухе, сделал лицо скучным и подсказал:

— Как твое прозвище?

— Жилиный, — ответил Калеван. — А Мишку вот этого Немченком дразнят, — Тимоху — Коцы-Моцы, Марфушку — Глиста...

— Эх ты, а сам-то хороший, Калеба гнилозадый? — пропищала обиженно Марфушка.

Все захохотали.

— Здесь ссориться нельзя, — остановил учитель.
— Парфе-ен Акудины-ыч! — крикнул из соседней комнаты Козленков — это их на улице так, а Иванова фамилия — Володимеров.

Учитель пожурил:

— Что-ж ты, братец, а? Иван, мол, Володимеров... Смелее надо...

— Ты бы поглядел, какой он дома вертун, — опять не утерпел Калеба.

— Помалкивай! — прикрикнул на него учитель, а потом, обратившись ко мне, продолжал:

— Ну, Иван Володимеров, как тебя по батюшке?

— Петра.

— Иван Петрович?

— Да.

— Хорош-с, мать как величают?

— Она уже старая, ее никак не величают.

— Как же так: не величают? Имя-то есть?

— Маланья.

— Так, а братьев?

— Нету, одна Матрешка... Сестра... Она у нас рябая.

— Матрена, что-ли?

— Да.

— Добре, сказывай, сколько тебе лет?

— Седьмой пошел, с Ивана Крестителя.

С такими же вопросами обращался учитель к Тимошке, потом к Мишке, Калобану и Марфушке, и все путались. Марфушке он сказал:

— Ты, девочка, умная, что вздумала учиться. Не ленись, большая польза потом будет.

Она ответила, что в школу ее тятя послал.

— И отец твой молодчина, — сказал Парфен Анкудиныч.

— Меня тоже послал тятя, — похвалился Колебан: — осатанел ты, говорит, совсем, убирайся, дьявол, с глаз долой в училищу!.. — И, увидав своего приятеля Цыгана, зафыркал: „Егоран! У нас под печкой голубята вылупились! Глаза лопни! Пишшат!“. Мишка его дернул за рукав, а Калеба огрызнулся:

— Чего ты щиплешься, стервило?

Учитель взял за подбородок Калебана и сказал:

— Нельзя так, выгоню на улицу, понял?

Перед отпуском учитель объявил: Мавра Титова принимается в первое отделение, а мы, четверо, должны придти на следующий год, потому что теперь молоды.

— Поешьте дома каши побольше, — смеялись над нами.

— Ничего, мы за год сильно вырастем, тогда и нас учиться примут, — утешали мы себя дорогой, — Марфушке-то девятый год!..

6. За податями.

На Трех Святителей драловский сотский, дядя Левон, Кила-с-горшок, наряжал народ на сходку.

— Эй, вы, слышите? Земский будет! — зычно кричал он, постукивая в раму батогом. — Подати!..

Отец возвратился со сходки поздно вечером, когда я спал. За завтраком поутру был угрюм и ни за что обругал Мотю.

На Сретенье Кила-с-горшок опять стучал под окнами; земский в этот раз приезжал с становым и что-то там такое говорил, отчего отец пропадал весь следующий день.

— Ни с чем, знать? — встретила его мать.

Отец так зыкнул на нее, что я со страху подскочил на лавке. Разговора за весь вечер никакого не было.

Чуть свет отец с сестрой долго копались в сарае, потом свели туда Пеструху — телку. Вслед за ними побежала мать, прикрыв полою самовар, а за матерью — я. Отец прятал зачем-то телку между старновкой и стеной, заваливая сверху и с боков на поставленной ребром жерди соломой. Между жердями темнела дыра, в которой пугливо возилась Пеструха.

— Не задохлась бы, — шептала мать. — Крепки колья-то?

— Крепки, — говорил отец. — Вали сверху овсяную солому.

Мотя таскала вилами солому, мать зарывала в мякину самовар и новые холсты, которые лет пять берегла на смерть, а я, стоя с разинутым ртом, дивился.

— Зачем вы, мама, это делаете, — а?

— Марш домой! — крикнул отец, грозя веревкой. — Везде, дрянь, поспеваешь? — И, понизив до

шопота голос, добавил: — если кому скажешь, изувечу...

По деревне ездили начальники, выбирая подати, недоимку и продовольственные деньги. Они ходили от двора ко двору, ругались матерно, грозили согнуть в бараний рог, вымотать душу, а следом плелись старшина со старостой в медалях, понятые и мещане из города, на широких розвальнях.

На улицу, прямо на снег, выбрасывали из клеток холсты, одежду, самовары, сбрую, все, что можно продать. Скупал рыжий мещанин в крытом тулупе. Становой величал его Василием Василичем и угощал желтыми папиросами из легкого табаку. Цену назначал становой, старшина поддакивал, воротя в сторону от мужиков лицо, староста молчал, понятые вздыхали. Василь Василич, ткнув ногой вещь, сипло отрубал: беру! Работники тащили скупку в сани, а мещанин, отдуваясь, лез за пазуху, вытаскивая холщевый, засаленный, в поларшина длиною, денежный мешок, и отсчитывал красными озябшими пальцами мелочь, бабы истошно выли, мужики бухались в снег на колени перед полицейскими, стукались лбами в глубокие калоши, отметая волосами снег с них, хрипели что-то. Становой благодушно отстранял лежащих, притрагиваясь кончиком шпаги к спине, или кричал, то милостиво, то зло.

За добром выводили живность: поросят, коров, птицу. Кур и поросят совали в широкие мешки, овец бросали, скрутив ноги, на сани, а коров

и телят привязывали к оглоблям и сзади саней. Куры кудахтали, вырываясь из рук, по улице летали перья; поросята, бабы и девки визжали; коровы угрюмо мычали, разгребая ногами снег и крутя головою... Нашествие татарское на Русь!..

Скоро четверо мещанских розвальней нагрузили до верху.

Становой сказал:

— Не закусить ли теперь нам, Василь Васильич, а?

— Пора, — ответил тот.

Возы, нагруженные холстами, обувью и одеждой, утварью и ветошью, отправили с мальчишкой и десятскими в город; начальники, ежась от холода и потирая руки, полезли к старосте в горницу, сотский побежал за водкой, понятой — к попадье за мочеными яблоками.

Пока они в тепле кушали, мужики терпеливо ждали у крыльца. Старостина дочь, Пелагуша, и сама старостиха то и дело бегали из погреба в кладовую, из кладовой в избу, торопливо неся миски с огурцами, кислую капусту, хрен, ветчину и крынки молока, а мужики завистливо смотрели им в руки и шептали:

— Эко, братцы, жрать-то охочи!..

— Еще бы... привыкли, чтоб послаще, побольше.

Потом, стоя в дверях, начальники курили и отрыгивались, а осташковцы, кто ближе, толпились без шапок.

Напившись чаю с кренделями, опять приступили к описи и распродаже.

Отдохнувшие бабы снова завыли; опять пристав кричал и топал ногами, а мужики барахтались в снегу.

Дошла очередь до нас, а у нас продать нечего.

— Беднота несусветная, ваше благородие, — говорил староста, сдергивая шапку. — Ничего у них нету... Один только близир, а не хрестьяне, верно говорю!..

Понятые смотрят на отца, который посинел.

— Не робей, Лаврентьич, — тихо говорит отцу Варсонофий. — Упади на колени: зарежьте, мол, а денег ни гроша... Он отходчивый... Покричит-покричит, а посла — помилует... Главная задача — голод, мол, проели все... Ишь, шубенька-то у тебя, хуже бороны...

Входя уличными дверями в сени, становой стукнулся лбом о притолоку и выругался матерно, поднимая шапку со звездой. Мать со страху схватила метлу и давай разметать у него под ногами сор, причитая:

— Батюшка, начальничек наш милый... в кои-то веки к нам заглянули...

Урядник толкнул ее в плечо.

— Отойди, старуха, не мешай, — сказал он.

— Кланяйся барину в ноги, пень! — подскочила ко мне мать. — Упади перед ним!.. Упади!..

Увидя Муху на соломе, принялась лупить ее метлою.

— Что ты, стерва, притаилась, а? Марш на улицу, одежду господам хочешь порвать, одежду?

Собака огрызнулась.

— А-а, так ты та-ак?

Мать саданула Муху толстым концом метлы по голове.

— Пошла прочь, паскуда!.. Ишь ты, что надумала! Одежду рвать?.. Чистую одежду рвать?.. А метлы не хочешь?.. Я тебе порву!.. Ты у меня узнаешь!.. Барыня какая!..

У нее из-под платка выбились волосы, слабо завязанная онуча на правой ноге сползла, а мать все бегала по сениям, как шальная.

Становой посмотрел, усмехнулся.

— Эко чучело!

И урядник усмехнулся.

Из отворенной полицейскими в избу двери пахнуло теплом. Становой сморщил рожу, сплевывая:

— П-пффа!.. Какой тут смрад!.. Скоты!.. — и поспешно хлопнул дверью, выходя на улицу.

— Где хозяин?

— Вот мы... вот я!.. — выступил отец.

— Подати.

— Нету... голод... бьемся... обождите, богом заклиная!..

Отец опустил на колени. Подбородок у него трясется, широкую, с проседью, бороду развевает ветром, на лысине, в три пятака, тают снежинки...

Стоя на коленях, отец часто и непонятно что-то говорил, царапая пальцами грудь; Мотя, бледная,

с красными пятнами по лицу, трясется, хрустит пальцами; мать трясется и плачет, а отец по-собачьи смотрит в глаза уряднику и становому. Я в толпе ребятишек.

— Отец-то твой никак заплакал, — шепчет мне Немченоч.

Мне стыдно за него.

— Это ему ветром в глаза дует, — говорю я горячо. — Он у нас, ты сам знаешь, какой, молотком слезы не вышибишь!.. Не может он плакать!..

Но Мишка ладит:

— Плачет, вот те крест! Гляди-ка: за нос все хватается!

Тут я сам, сквозь слезы, говорю:

— погоди, и твой заплачет, как черед дойдет... осталось три двора...

Мы с утра отплакались все разом — говорит Немченоч. — Отец нас матом, а мы — в голос... Отец говорит: надо давиться, а мать говорит: добрые люди скотинку прячут, где получше, а не давятся... Отец корову и жеребенка свел в овраг, а большую свинью, говорит, девать некуда и заревел. Черти, говорит, сожрут ее, а не мы, а мать говорит: бог милостив Лексеич...

Наклонившись к уху, Мишка шепчет:

— Отец свинью все-таки зарезал... Не паливши, понимаешь в омет ее... На куски да в омет... идем, а я покажу...

Начальники пошли обыскивать наш двор, а мы с Немченком за сарай, в ометы.

— Сюда, сюда! В среднем кричал! — Мишка. —
С того краю!

Увязая по живот в снегу, он бормотал:

— Сейчас я покажу тебе, где наша поросятина
лежит, сейчас ты, друг, узнаешь.

Но, завернув за угол, Мишка завыл:

— Глянь-ко-ся-а!

Четыре здоровенные собаки, раскопав дыру
в соломе, жрали мясо. На снегу атели пятна крови,
в стороне крутились белопегий щенок и три во-
роны, из соломы торчала обглоданная кость.

— Тятя-а! — взвизгнул Мишка, постояв с ми-
нуту. — Тятя!

Несясь вихрем по деревне, так что развевались
из-под шапки льяные волосы, Немченоч что есть
силы голосил:

— Собаки, тятя!.. Свинью!.. Только косточки,
тятя!.. Стоявшие у крыльца мужики в недоумении
обернулись, а отец Немченков, тут же, на снегу
присел.

— Что ты, оглашенный! — цыкнул староста,
хватая метлу.

— Собаки съели! — выпалил Немченоч, расто-
пырив руки.

— Э-э-э... что т-т-ы мелешь? — едва сумел про-
молвить отец Мишкин. — Что ты, бог с тобой?..
Окрестись!..

— Ветчину сожрали! — кричал Мишка. — Гово-
рила мать: прячь подальше, не послушался, — и он
заплакал, сморщив по-старушечьи лицо.

— Головушка ты моя горькая! — схватился за волосы Мишкин отец; по бледным щекам его покатались слезы.

Трясаясь, я, неожиданно для самого себя, завывл, глядя на отца:

— И нашу Пеструху собаки съедят!.. Беги скорей в сарай!..

Начальник круто обернулся.

— Что ты, мальчуган, сказал? — спросил он у Немченка.

Тот вылупил глаза, раскрыл рот и поперхнулся. Начальник обратился ко мне:

— Что случилось? Чей ты, а?

— Свой, — скороговоркой ответил я, глотая слезы. — У Мишки закололи свинью, и ее собаки слопали в омете, а у нас, в старновке телка...

Взглянув на отца, я вспомнил об угрозе и закричал, обливаясь слезами:

— Сейчас он меня увечить будет!.. Нету у нас телки, мы продали!

Мишкин отец, сидя в снегу, качался из стороны в сторону, причитая; мой отец упал становому в ноги. Мотя зарыдала, мужики оцепенели.

С размаха начальник ударил отца кулаком по скуле. Желтая перчатка на руке его лопнула. Отец ткнулся головой в порог и застонал. Зверем бросилась на станового Мотя, вцепившись в рукав. Ее ударили по голове, она свалилась рядом с отцом, но, вскочив, метнулась снова, а ее опять ударили; сестра опять упала. Начальник пнул

отца ногой в живот, и он скрючился, скуля, а мать полезла на потолок.

— Караул!.. Душегубство!.. Спасите!..—кричала она и с четвертой ступеньки шлепнулась на пол.

Когда начальники уехали, Мишке вывихнули ногу и возили в город поправлять, а я с неделю ходил кровью на двор за Пеструху.

7. К светлой доле.

Осенью мое желание сбылось: я получил в школе букварь и грифельную доску.

Долгими зимними вечерами, когда за окном трещит мороз, а в избе так тепло и уютно, зажгут наши маленькую лампочку-моргасик, я прилягу к столу и, подобрав под себя ноги, заявляю:

— Ну, вы, тише теперь там — читать начинаю.

— Читай, читай, — скажут домашние: — а мы послушаем. Чисто ли на столе-то — книжку кабы не замарал? — и мать прибежит смахнуть пыль рукавом.

— Ничего чисто, вы не разговаривайте, а то — собьете, — начинаю выводить нараспев:

— Ми-ша. Мы-ши. Мы-ло. Ма-ша ши-ла...

— Какое тут шитье, — скажет мать: — у меня и глаза-то ничего не видят...

— Да нешто про тебя это? — крикнул я. — Мешаешь только!

— Ну, не буду, не буду, милый!

— Пи-ли-ли. Мы-ли-ли. Ши-ли. Ма-ша тка-ла по-лотно...

— Это, видно, про Жигулеву Машу — она первая в деревне мастерица ткать холсты...

Я опять закричу:

— Вот ты, мать, какая! Язык-то, словно, помело в печи — туда и сюда... Ведь, это в книжке так написано, а ты почнешь набирать, кто знает что!

Все смеются, а я злюсь.

— Не выучу вот урок-то, — обращаюсь я снова к матери, — а тебе, видно, хочется, чтоб меня завтра на коленки Парфен Анкудинович поставил?

— Ох, Ванечка, я и забыла, касатик! Больше не буду, верное слово! Мне все дивно — Маши да Саши разные набираешь, а я думаю: не про нашу ли деревню отпечатали?

— Про нашу, как же!.. Бестолковщина!.. Кузь-ма ку-пил коз-ла...

— Ха-ха-ха! — заливается мать: она у нас всех непонятнее была: — Кузьма купил козла!.. — почесывая за ухом веретенем, говорит в раздумье: — Ниточкин Кузя, должно быть, так у нас козлов-то ни у кого нету, разве в городе?.. Старик, — смотрит она на отца: — ты, часом, не знаешь у кого козлы в городе?..

С глубокой отчетливостью запечатлелась в душе моей такая сцена из школьной жизни. Раннюю весною подвыпивший отец с компанией соседей и родственников, зайдя однажды в избу, сказал мне:

— Почитай нам что-нибудь, сынок!

Сынок! Я даже не поверил! Это был первый и единственный случай в моей жизни, когда он назвал

меня сыном своим. Захватило дыхание от радости, хотелось броситься ему на шею и заплакать счастливыми слезами, поцеловать его руки и, крепко прижавшись, самому сказать что-нибудь ласковое, душевное...

Было Вознесенье. Я прочитал им историю праздника. Я с таким увлечением сделал это, так мне было приятно и весело, в ушах так сладко звенело слово: „сынот“, что все невольнот залюбовались мною. А отец подозвал меня ближе к себе, маня пальцем и любовно глядя добрыми глазами: он гордился мною, старый. Схватив обеими руками мою голову, он близко-близко наклонился и поцеловал меня.

— Милый мой, славный Ванюша... дитятко мое...

У него по щекам текли крупные слезы, прячась в широкой бороде, изрубленные пальцы перебирали мои волосы, а затуманенные слезами глаза ласкали и грели.

— Хороша эта штука — грамота, — сказал кто-то, вздохнув. — Карапуз еще, мальчонка, а все понимает, не как мы грешные: смотрим в книгу, а видим фигу.

— Учись, родной, учись... шептал отец. — Я не буду приневоливать тебя к работе нашей, пустая она и неблагоприятная... Учись... — тряхнул он головой: — Находи свою светлую долю: я не нашел... — Искал, а — не нашел...

Он опустил руки, вздохнул и промолвил, глядя в землю:

— Я бы хотел, чтобы ты хоть один раз в жизни сытно поел... да... и не из помойного корыта. Я весь век голодал, а работал, как вол, больше... Учись, ты, может-быть, пробьешь себе дорогу... Мы умрем скотами, падалью, а ты — ищи свое счастье и — учись, понял?

— Понял,— прошептал я, прижимаясь к нему.

Отец снова поцеловал меня, трепля по волосам.

— Эх, ты, Ваня-Ваничка, голубчик ты мой!..

Я разрыдался от счастья.

Осень. Сбившись в плотную кучу, мы сидим на берегу реки — Цыган, Тимошка, Мавра, еще кое-кто из ребят. Рассказываем друг другу разные истории, смотрим на тихую воду и белую паутину, которая тонкими, светящимися нитями летает по воздуху, цепляясь за чапыжник и древесные ветви. Мечтаем.

— Лето прошло,— задумчиво говорит Мавра.

Пока еще играет солнышко, отражаясь перламутровыми блесками в реке; золотится разостланный по лугу лен; над нами выются ласточки, кувыркаясь и ныряя в светлом и прозрачном воздухе: крикливой стаей мечутся скворцы, перепархивая с места на место, но во всем уже чувствуется особая, осенняя усталость: как будто земле и небу, реке и ласточкам захотелось смертельно поспать, отдохнуть, собраться с новыми силами.

Тихими сумерками ложатся неуверенно-прозрачные тени прибрежных ракушек на сыровато-пепельную землю; прощально улыбается день.

Длинными рядами тянутся необранные копны ячменя и пшеницы, а меж них, с каймой полыни по сторонам, ужом ползет серая дорога. Морщинистая даль сливается, темнея, с частым гребнем леса.

— В волость книжки, говорят, прислали,— прерывает сонную тишину Цыган, цыкая сквозь зубы.

— Книжки, говоришь? Какие? — встрепелась Марва.

— Чорт их знает,— люди сказывали! — пожирает он плечами и, помолчав, добавляет: Будут раздавать их, книжки-то... а зачем — не знаю... Велено, будто, читать, кто грамотен...

Неожиданная новость глубоко запала в душу, и я весь вечер думал о книгах. Пытался заговорить о них с отцом и матерью, но те ничего не могли мне сказать.

— Я ведь в бумагах-то, сынок, не понимаю,— ответила мать, а отец, почесав поясницу, зевнул и полез на печку.

— Насчет новых оброков эти книжки,— проворчал он.

На крыльце затопал кто-то; хлопнула щеколда — Мавра прибежала.

— Завтра же сходишь со мною к Парфену Анкудинычу, — потупившись и искоса поглядывая на домашних, промолвила девочка. — Знаешь — насчет *этого*...

Меня будто осенило.

— Непременно ходим, непременно! — закричал я радостно. — Как поднимемся, сейчас же и сбегает!

Утром, постучав тихо в двери, мы пожелали вышедшему сторожу доброго здоровья, похвалили новую кадку, поставленную в сенях для воды, сказали, что кончается лето и близки занятия, потом справились об учителе.

— В книжки смотрит целый день,— ответил важно старик.— Дошлый он до книжек, страсть: день и ночь так и торчит, не разгибаясь, будто курица на яйцах.— Склонившись, сторож таинственным полушопотом говорит:— по-моему, бо-ольшущую надо голову иметь, чтобы одолеть по-настоящему писанье, бо-ольшущую!.. Вон на хуторах мужик был — Кузя Хлинкий — одну только Библию прочитал, да и то — ума решился, а у нашего их, может, двадцать пять и все — одна одной толще... Посиди-ка над ними — хуже косовицы уломает.

По привычке вдруг звереет и шипит:

— Не галдеть...

Мы смеемся.

— Ты, Ильич, там с кем воюешь? — слышался сзади голос учителя.

— Грачи к тебе прилетели; принимай, коли охота... Ноги щепкой вытри, бестолочь!

— Это вы, друзья? — радостно воскликнул Парфен Анкудиныч, выходя из комнаты и застегивая ворот рубашки.— Ну, здравствуйте! И ты, Мавруша, пришла проведать? Добре, добре... Идите в хату чай пить.

После четвертого стакана я сказал:

— Вот Маврушка насчет книжек все думает: что там за книжки присланы в волость?

— И ты думаешь, — сказала девочка. — Мы оба...

— Ага, насчет книжек — дело! — воскликнул учитель и рассказал нам, что сейчас при волости будет бесплатная земская библиотека, откуда можно будет получать всем книги.

— Книга — нужная вещь: она — друг, — настаивает учитель нас. — Книга учит жить людей; непременно запишитесь.

Через неделю я получил: „Вениамин Франклин, его жизнь и деятельность“ и „Полное собрание сочинений И. С. Никитина“, а Мавра — „Австралия и австралийцы“ и „Параша-Сибирячка“.

Обе книжки я прочитал в один присест — за вечер и ночь. Несколько раз мать поднималась с постели и насильно тушила лампу, хлопая меня по голове, отец грозил выбросить в лохань „дурацкие побасенки“, потому керосин теперь — четыре копейки фунтик, но я, переждав, когда они засыпали, снова зажигал огонь и читал.

Утром слипались глаза от бессонницы. Ползая по распаханым грядам и подбирая картофель, я несколько раз чуть не уснул, за что отец кричал на меня и называл нехорошими словами, а в душе у меня-то вставала светлая, чужая и далекая земля и в ней дерзкий человек, затеявший борьбу с небом, то грустные, тоскующие песни, так складно сложенные, такие звучные, простые и понятные.

Дотянув кое как до обеда, я убежал с книгою стихов в амбар и снова перечитывал их, а вече ром, при огне, сам написал стихотворение, озаглавив его:

НАША ЖИЗНЬ.

Близко речки стоят хаты —
Не убоги, не богаты:
То без крыш, то без двора,
Кругом нету ни кола.
На стенах везде заплаты.

Наш народ все неуклюжий
И подрасться любит дюже;
Он прозвание всем дает,
В праздник песенки поет.

Начиная с крайнего двора, я перечислил всех осташковцев — какие они есть:

Дядя Тихон — киловатый,
А Митроха — жиловатый,
Есть Ораша, толстый пупок,
Есть и староста сельской —
Кожелух, дурак надутый,
Он жену взял из Панской...

И так — до другого конца — всех под ряд. Заканчивалось мое писание так:

Каждый день здесь ссоры, драки.
Каждый день здесь визг и плач.
Вот поеду с отцом в город —
Там куплю я им калач:
Может, бог даст, перестанут
И немножко отдохнут,

Драться, биться позабудут,
Покамест калач-то жрут...

Ребята, выслушав на следующий день мою песню, пришли в восхищение.

— Вот это важно, — сказали они, — только знаешь что? — матерщинкой ее надо подперчить — слов пятнадцать!.. Тогда понимаешь, скус другой, петь будет можно...

— А если так — без матерщины? — пробовал защищаться я. — Ее и так бы можно спеть.

— Ну, брат, не та материя! — засмеялись товарищи. — Про всех бы, знаешь! Подошел к окну и выкладывай, что надо, а матюком — на смазку, чтоб не отлипло? Как там у тебя про старосту?

Я прочитал.

— Ну, вот! А тут бы — обложить его, ан смеху-то и больше-б.

Шумной оравой мы бегали вдоль деревни от окна к другому, распевая с гиком и присвистом срамную песню.

Вдогонку нам летали поленья и кирпичи; визгливые и злые бабьи голоса посылали проклятья и невероятные пожелания распухнуть, подавиться колом. А на утро говорили:

— Володимеров, грамотей-то, что, сукин сын, выдумал! Старшине бы пожаловаться!

— Поумнел, безотцовщина! Косить да пахать не умеет, а матом лаяться да песни зазорные петь — мастер! Горячих теперь бы дать с полсотенки, кутенку, — пускай заглядывал бы в зад...

Пришедшую с жалобой Оришку отец выругал и выгнал из избы, а когда мы остались вдвоем, сказал мне:

— Начитался, стерва? Сам умеешь песни складывать?— и бил до тех пор, пока мог — кулаками и за волосы.

А через день, когда я побежал в лавку за мылом, меня увидал Митроха.

— Поди ко мне, малец, на пару слов,—кивнул он пальцем.

Я бросился в сторону, и Митроха пустил в меня железными вилами, которые держал в руках. Одним рожком они воткнулись мне в ногу — повыше колена; я упал. Тогда он подскочил ко мне, бледный, говоря:

— Не рассказывай дома — я тебе копейку дам!.. На борону, мол...

8. Утятники.

Гранью моего детства было событие, происшедшее год спустя, летом, в ночь под Идью-пророка, когда мне шел тринадцатый год. Я был судим тогда в числе шести, всем осташковским обществом, как вор, и ошельмован, как вор.

Вспоминать этот вечер и, особенно, этот день — годовой праздник Ильи-Наделящего — тяжело, но я решил ничего не утаивать: пусть будет так, как было.

Убравшись с овсяным жнивом и перевозив домой копны, мы стали ездить в ночное. В поле оставались горохи, просо, картофель и льны — лошадей без призору пускать было еще рано.

— Завтра праздник: можешь пасти до обеда — сказал мне отец, — лошадь поест лучше, а ты выпишься.

Табун собрался в Поповом мысу, у речки.

Темнеет июльское небо, чистое и далекое, ласково смотря на нас миллионами лучистых глаз; шуршат по берегу сухими метелками серые камыши, будто старики на завалинке разговаривают о прошлом. В заводи плещется рыба, ухает выпь, фыркают стреноженные лошади, жалобно блеет забытый пастухом ягненок.

Ползая на коленях по росистой отаве, мы ощупью собираем в темноте щепки и хворост для костра. Несколько человек, подсучив штаны, режут тростник. Наступив босой ногой на жесткие корни или порезав о шершавые листья руку, они ругаются, а стоящие повыше смеются и советуют:

— Вы легонечко — не жадничайте... Не в чужом огороде.

Вокруг костра, лежа на боку и животе, подперев кулаками белые, черные и русые головы, лежат малыши, подкладывая в пламя упавшие ветки.

Смотря на них синими, карими и серыми глазами, перебрасываются шутками, блестя крепкими, как из слоновой кости, белыми и ровными зубами. Огонь играет на их румяных щеках и темных ресницах, в спутанных курчавых волосах прячутся пугливые тени, молодой смех переливается и звенит, как звон веселых колокольчиков.

Захрустело жнивье, послышался топот и глухой кашель.

— Ой, кто это?— испуганно встрепенулся маленький Ваня Зубков.

Посмотрев на шорох, Дюка равнодушно сказал:
— С телегой едут.

На фоне потухающей вечерней зари медленно двигалась черная точка, как жук, распластавший черные крылья.

— Сиденье вам,— охнула темная ночь.

— Садись к нам.

— Тпррру!.. Грееетесь?

Мерцающий свет костра обнял круглое, обросшее пушистой бородою лицо, шапку спутанных волос, посконную рубаху и лапти.

— Архипка Мухов с работником, — шепнул Зубков соседу.— А я испугался — не межевой ли, думаю?

— Что ты!— пробасил снисходительно тот.— Межевой ездит в полночь, это надо знать.

Спутав лошадей, приехавшие расположились у костра, оба серые от пыли и пота, с красными, воспаленными глазами.

— Сказки слушаете? Промышлять бы шли!— говорит, присаживаясь, Мухин.

С давних пор молодежь и дети делают набег, с ночного на деревню, обивая сады и огороды, таская чужих кур, уток и гусей. Это в обычае и считается молодчеством.

— Ступайте — повторяет Архип: — я кувшин дам для варки — Мухин шурит узкие глаза

и причмокивает:— важно бы теперь цыплятинки хватить — сладкая она, молодая-то... Эх, вы!.. Бывало в вашу пору...

Шесть человек: Андрюшка Жук, Калеба, я, „так себе“ — работник, Федька Касынков и Алеша Горлан отправляемся на промысел. Никто из нас молодой цыплятины не хочет, но нужно показать, что мы не трусы.

А перед утром, когда запели жаворонки и пар от реки стоял выше осокорей, нас поймали с поличным.

Товарищи спали мертвым сном. Одежда покрылась росой и лица посерели, измялись. Медленно тлели дрова, натасканные из изгороди, тонкими струйками шел от них дым, расстилаясь ковром по лугу. Мы, шестеро, дремали у костра, ожидая ужин.

— Вы что тут варите? — спросили неожиданно. Вскинув глаза, оглушенные и растерянные, в предчувствии близкой беды, мы едва проговорили:

— Нет, мы ничего не варим... Сидим и греемся.

Склонившись лохматыми головами, в свитах, перетянутых поводьями, на нас враждебно смотрят три пары глаз. В руках у каждого по палке.

— Поздно сидите... Подай сюда кувшин!..

Слетела с головы шапка, в затылке отдалась ноющая тупая боль, закружилась и запрыгала земля.

Нас били ногами и палкой, таскали по земле за волосы, заставляли становиться на колени и просить прощенья.

В плотном кругу товарищей, разбуженных шумом и бранью, бегал Архип, всплескивая руками и визгливо крича:

— Глядите-ка, ребятушки,—они и посуду у меня украли, сукины дети! ишь оголодали, будьте вы трижды прокляты!..

— Дядя Архип, ты помолчал бы,—сказал Андрюшка Жук,—ведь ты же сам нас научил, а теперь ругаешься — а?

Мухин взвизгнул, как собака, которую огрели камнем по боку, и, брызгая слюной, схватил его за волосы, приговаривая:

— Я т-тебе покажу! ты у меня узнаешь! Научи-ил? Научил? Воровству я тебя буду учить проклятая душа?

Откопали перья и пух из-под копны, головы и лапки. Один из пришедших, Ерема Косоглазый, закричал:

— Нестер, утки-то, братец ты мой, наши, глаза лопни, наши! Смотри-ка на мету—от-поля палец подрезан! А я думал, борисовские!..

Опять нас били, таская по земле и вывертывая руки, совали в рот сырое утиное мясо, говоря злобно:

— Жрите! Жрите, ненасытные утробы! Жрите, чтоб вам подавиться, стервам!

Сначала мы плакали, прося прощения, а потом перестали: ни слез уж не было, ни силы.

Дома спросили, когда я приехал.

— Ты что такой невеселый? Дрался, что ли с кем-нибудь?

— Нет, я — веселый, — ответил я, но сами собою брызнули слезы, я выскочил из-за стола и убежал в коноплю.

— Эх, скоро узнают все!.. Опять начнут бить... На улице смеяться будут... Зачем мы это делали...

Медленно тянется время, голова — как в огне, сердце то ноет мучительно, то падает, готовое разорваться... Не знаешь, как лечь, куда положить голову, о чем думать. Нестерпимо хочется забыть пережитое.

— Умереть бы... С мертвого взять нечего... А если станут бить — не стыдно и не слышно...

Конопля шелестит. Горячими волнами пробегает по ее верхушкам ветер, она качается, как сонная. Пальцеобразные листья опустились и поблекли; лохматые головки сереют маленькими ядрами спеющих зерен.

Пришла Мотя. Молча села рядом.

— Зачем вы, глупые? — спросила тихо.

— Я не знаю...

— Сходку собирают. Ступай — проси старосту: пожалеет, гляди...

На колени перед ним стань...

— Не пойду — мне стыдно, боюсь...

— Ступай. Отец сердит: платить ведь надо, а денег нет... Ругает он тебя.

В избе у Еремы Косоглазого, хозяина уток, стоим на коленях, целуем ноги и руки у всех, клянемся с горьким плачем, что не будем никогда

озорничать, а они пьют чай из светлого самовара, смеются и говорят:

— Знаем мы вас!

Калекан просит:

— Я твоих лошадей буду целое лето без денег пасти, прости нас, Христа ради!

Федька обещает еще что-то сделать и я обещаю, а староста вытирает пиджачной полою румяное лицо, с капельками пота на нем, хмурит белобрысые брови, важно спрашивая:

— Что, чертенята, плачете?

Бьет меня ладонью по затылку.

— Кто кожелуп-то — староста? У ты — утятник, сочинитель! Я тебе припомню песенку!

Другие говорят:

— Он — мастер на эти штуки. Поглядим, как теперь запоет! Сотский-то близко? Вели бы на сходку их, — пора!..

— Эх, горе наше, горе!..

Кольцо суровых бородатых лиц. Посконные рубахи, сапоги в дегтю и лапти. Седой старик толкает меня палкою в плечо.

— Рассказывай, как дело было. Становись посредине сходки и рассказывай... — Жмурит пухлые глаза, без ресниц. — Лишнего не привирай. Что ты плачешь?

Сбежалась вся деревня: женщины, дети, подростки. Теснятся около нас, заглядывают в лица. шепчутся:

— Вот они — утятники-то... Били их, или нет еще?

— Ондруха-то, бесстыжая харя, Ондруха-то! — жених, а тоже затесался!.. Ему надо больше всех влить!

Руки трясутся и горло пересохло. Заикаясь и путаясь, передаем, как было дело, и робко молчим.

Вспоминаются наставления матери.

— Поклонись на все четыре стороны и скажи: православные, простите меня, глупого!

И я опускаюсь на землю, бессвязно бормоча:

— Православные...

А старик с опухшими глазами трясет меня за плечо и скрипит противным голосом:

— Чем вы уток-то?

Изо рта у него скверно пахнет, в углах глаз — желтый гной, толстый нос покрыт угрями.

— Чем вы их?

— Колотушкой...

— А? Шибче сказывай!

И подставляет большое, мясистое ухо, из которого торчат клочья грязных, седых волос.

— Колотушкой. Ею колья забивают... старички! Падаю ему в ноги.

— По головам, небось? Ты — погоди, после поклонись... Слушайте вы, не галдите: они колотушкой их! По головам, говорю, или как?

— По головам и по другому месту... Простите меня, глупого!..

Старик дробно смеется, будто чистит ножом сковороду, и кашляет, обдавая гнилым запахом,

треплет сухой рукою, с шишками на суставах, по спине меня и шепел

— Ишь ты — ловкий какой! Как хлопнешь, так и — готова!

— Да-а...

— Ловкий, шельмец, ловкий!..

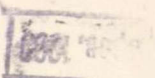
Нанизанные на тонкую бечевку куски мяса нам наматывают вокруг шеи, пухом и перьями посыпают головы и ведут рядом с одного конца деревни на другой и обратно. Улюлюкая, звонко бьют в старые ведра и заслонки, кричат, забегая к самому лицу: утятники! воры!.. Заставляют низко кланяться миру, позорят нас...

А меня клонит ко сну: усталые ноги еле передвигаются, голоса толпы, дикой и жадной до зрелищ, звон посуды и брань кажутся чужими, далекими...

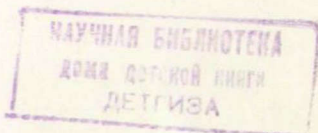
...Ночью загорелся у старосты сарай. Опять крики, звон и топот. Огонь из сарая перебрался на скирды хлеба, оттуда — на избы и клетки. К голосам людским и визгу присоединился набат, рев скотины, плач детей...

Прижавшись к забору, я смотрю на зарево и тихо плачу... Постарел я за этот день.





23328



Цена 15 коп.



СКЛАД ИЗДАНИЙ:

Харьков, ул. Свободной Академии 5. Тел. 10—07.

Москва, Кузнецкий мост, д. 5/15, пом. 15, подъезд 6.

Телефоны: 3-01-99 и 3-17-55.

156